Фрагменты из книги А. А. Константиновского «Далёкие голоса»

ГРОЗНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ

Продолжение. Первую часть см. «Руды и металлы» № 1/2020

Москва после 16 октября совсем опустела. Серая, холодная погода усиливала неуютное впечатление. Многие улицы ощетинились «ежами» – противотанковыми заграждениями. Во дворах и переулках на стенах домов чернели надписи огромными буквами: «Бомбоубежище», «Газоубежище». Город мне чем-то неуловимо напоминал полностью облетевший осенний лес, приготовившийся к зиме. Во всём сквозило тревожное ожидание: войдут немцы или нет. Воздушные налёты следовали один за другим. Часто случалось, что, когда объявляли тревогу и начинали жутко завывать сирены, самолётов не было, а час спустя, когда по радио звучало: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой», налетали бомбардировщики. Происходило это и ночью, и средь бела дня. Я насчитывал до восьми тревог только за день. Осколки от зенитных снарядов уже не были редкостью: те, что помельче, в изобилии валялись на железной крыше нашего дома, а более крупные пробивали её и падали на чердак. Кроме фугасных бомб, сверху летели и маленькие зажигательные. Их тушили в ящиках с песком дежурившие на крышах. Одна такая бомбочка с выпотрошенным нутром долго служила нам с братом копилкой для мелочи: у неё была удобная, плотно завинчивающаяся массивная крышка. Серебристый корпус легко стругался – полученная крошка вспыхивала от спички ослепительным огнём. После войны выяснилось, что «крышка» на самом деле была тупорылым головным взрывателем. А мы-то колотили им орехи!

Несмотря на частые налёты, разрушенных домов было не так уж много. Бомбили в основном заводские окраины. В центре города больше доставалось почему-то району Арбата и Замоскворечью. Каменные стены там во многих переулках были испещрены оспинами от осколков. Запомнился один жилой, наполовину разбомблённый дом. Он стоял на Моховой наискось от станции метро «Библиотека Ленина» вблизи особняка, занятого в то время музеем Калинина. Мы проходили с мамой мимо него и с ужасом услышали глухие крики заживо погребённых. Техники не было, и на горах битого кирпича, обломков стен и рухнувших перекрытий устало ковырялось несколько человек с кирками и ломами.

<…>

В убежище ходили только в начале регулярных налётов. Увидев первые разрушенные дома, мы поняли, что в неглубоких подвалах в случае прямого попадания ждёт братская могила, и на свой риск и страх, как и большинство москвичей, стали оставаться дома. В тёмное время надо было соблюдать светомаскировку. Для этого существовали специальные шторы из чёрной плотной бумаги, днём наматывающиеся на горизонтальную рейку. При малейшей щели, сквозь которую наружу проникал свет, со двора раздавался истошный, с матерщиной, крик бдительной дворничихи.

Лишь однажды мы не рискнули остаться дома: с вечера распространился слух, что ночью будет массированный налёт. Усталый после дежурства, Андрей остался, а нас мама повела укрыться на станцию метро «Маяковская». Вместе с массой людей спустились по неподвижному эскалатору на полутёмную станцию, где, по маминому выражению, «яблоку некуда было упасть». Пришлось вместе с новоприбывшими сойти по дощатому трапу на рельсы и двинуться вглубь слабо освещённого тоннеля. Однако и здесь «спальные» места между рельсами и чёрными стенами, выложенными тюбингами, были заняты. Люди на разостланных газетах и подстилках лежали вповалку, как в люльке, ногами к путям, головой к стенам. Место нашлось, только когда мы, протопав по шпалам с километр, очутились, вероятно, где-то под Пушкинской площадью либо под нашим домом.

Андрей веселился, выслушав рано утром всё это: бомбежки в ту ночь, несмотря на ясную погоду, вообще не было.

В считаные дни октября стало голодно. Воцарилась карточная система. Коммерческие магазины ещё работали, но мы в них не ходили – то ли из-за высоких цен, то ли из-за огромных очередей. Школы бездействовали, и днём мы были предоставлены самим себе. Слоняясь без дела по двору или унылому коридору нашей коммунальной квартиры, мы особенно остро чувствовали голод. Довоенные товарищи-одноклассники почти все эвакуировались, играть было не с кем. Во дворах осталась отборная шпана, особенно в нашей «Бахрушинке». В ходу у хулиганья были лезвия от безопасных бритв – так называемые «писки». <…> Их спутницы – развратные девчонки-малолетки с подпухшими глазами – тоже были вооружены. В дешёвых перстеньках у них были укреплены обломки бритвенных лезвий, и они тоже могли полоснуть наискось через всё лицо.

К счастью, оставался Волик, живший в одном из переулков Старого Арбата. Мы проводили время то у него, то у нас дома, играя в шашки, шахматы или на специально расчерченном листе в морской бой. Однажды он заинтриговал нас с Мишкой, сказав, загадочно посмеиваясь, что ждёт момента, когда начнут грабить продовольственные магазины: в очередях об этом упорно поговаривают. Я в свою очередь поделился своим планом: когда пойдёт грузовая трамвайная платформа, нагруженная мешками с мукой, то на крутом повороте у начала Тверского бульвара можно заранее положить на рельс толстую гайку. Платформу тряхнёт, и один из драгоценных мешков может свалиться наземь. Ну, а тут уж не зевать... Мечты голодных подростков!

В окрестностях Москвы остались неубранными поля, и горожане тайно (за это грозила тюрьма!) ездили по ночам выкапывать из-под снега картошку и свёклу. Наша самоотверженная мама сначала с Аликом, потом и одна не раз отправлялась на этот опасный промысел. К утру, валясь с ног от усталости, но счастливая добычей, она привозила в тяжёлом мешке картошку, сахарную свёклу, а если везло – кочан-другой замёрзшей, как булыжник, капусты. Насквозь промороженную картошку невозможно было сохранить впрок, она быстро портилась.

Поэтому мы наедались до отвала. До сих пор помню её сладковатый привкус. Оттаявшую сахарную свёклу мама резала дольками, как мармелад, и тушила на воде в кастрюльке. С ней пили чай и кофе: сахара практически не было. (Кстати, ароматный натуральный кофе я впервые испробовал именно в октябре, в начале голодного времени. Его хочешь не хочешь приходилось выкупать, так как этот далеко не первой необходимости продукт был почему-то включён в скудный карточный рацион. До войны из экономии мы пили только кофе «Здоровье» из желудей, жжёного овса и ещё чего-то дрянного, но безвредного для организма).

В то тревожное время к нам зачастил в гости дядя Гриша – неунывающий, бородатый, пузатый, с глазами навыкате, как у Синей Бороды на гравюрах Доре, эпикуреец и умница. Он приходился дядей по материнской линии маме, Алику с Мишей-старшим и Мухе – Григорий Владимирович Зубков, сын известного профессора Московского университета. В то время ему было около шестидесяти. Дядя Гриша был великий книгочей и по призванию философ. В соответствии с характером он предпочитал лёгкое чтение и обожал Дюма. До войны он, как человек азартный, много играл на бильярде и был завсегдатаем ипподрома (часто в компании с дядей Мишей). Когда случался хороший выигрыш, он накупал всякой всячины, и мама с Мушкой устраивали праздничное чаепитие. Усаживаясь в кресло, отдуваясь и пошучивая, он расправлял пышную бороду и заводил разговоры на самые различные темы. Нас с Галкой увлекали рассказы о приключенческих книгах его юности. Когда воспоминания о них дяде Грише

надоедали, он принимался учить нас шахматным дебютам, так как обычное начало игры тяготило нас своим однообразием.

С недавних пор разговоры пошли на серьёзные темы. Он клеймил советскую власть и, кипятясь, почти выкрикивал, что она разрушила православную веру, уничтожила настоящую интеллигенцию и разорила крестьян. Особенно доставалось НКВД: чуть ли не половину народу упрятали по тюрьмам и лагерям. Мама с Мушкой готовы были зажать ему рот и умоляли говорить тише. Однажды, когда мы случайно оказались вдвоём, он уселся в своё любимое облезлое кресло и стал доказывать мне, как взрослому, страшную суть революции. Октябрьская, говорил он, в упор разглядывая меня своими выпуклыми глазами, в точности повторила все фазы Великой французской: переворот, передел частной собственности в форме грабежа, заманчивые звонкие лозунги, затем захват власти кучкой наиболее активных и – казни, казни, казни... Сначала царской семьи (у французов – королевской), потом самих революционеров, своих недавних сподвижников, а там уж сочувствующих и ни в чём не повинных. Незнакомое слово «узурпация» и крылатое высказывание о Сатурне, пожирающем своих детей, я услышал впервые от дяди Гриши именно в том давнем разговоре.

Произнося накипевшее в душе, он сердито вращал глазами, шевелил седыми косматыми бровями, сопел. Логика была железной. Он заставил меня ещё больше усомниться в светлом предназначении советского строя. Вскоре дядюшка поднялся и ушёл восвояси, оставив меня глубоко озадаченным.

По вечерам разговоры такого рода возобновлялись с новой силой. На возможный приход немцев дядя Гриша, к моему ужасу и стыду, смотрел положительно: цивилизованный, работящий народ, они сметут деспотический, кровавый и насквозь лживый режим. Говоря всё это, он испытующе, исподлобья поглядывал на Андрея. Тот отмалчивался либо сумрачно возражал. Мушка бегала между ними взад и вперёд по комнате и кипятилась: «Немцы – культурные люди, в этом нечего сомневаться!» Мама молчала, но я знал, что она поддерживает Андрея. Алик колебался. Но однажды дядя Миша своим беспечным высоким голосом запальчиво ляпнул, что уж лучше работать под властью трудолюбивых и любящих порядок немцев, чем терпеть произвол НКВД и за здорово живёшь пропасть в концлагере или сгнить в тюремной камере. Выражение лица его при этом было как у обиженного и решившегося высказать всю правду ребёнка. Он добавил, что считает официальную пропаганду о немецких зверствах враньём. Это положило конец Аликиным сомнениям. Он возмутился, и братья чуть было всерьёз не поссорились. Как и мама с Андреем, Алик в неприятии сталинского режима был солидарен с дядей Гришей, но тем не менее все трое не допускали и мысли о жизни в оккупации.

В тот вечер дядя Гриша решил разрядить обстановку. Он принёс из дому гитару, загадочно позвенел струнами, настраивая, сделался серьёзен и вдруг, к моему удивлению, запел неожиданно высоким и чистым голосом: «Позарастали стёжки-дорожки, где проходили милого ножки, позарастали мохом-травою, где мы гуляли, милый, с тобою...». Аккомпанировал он себе мастерски. Мама подсела к роялю, быстро подобрала мелодию и запела вторым голосом. Я был поражён и песней, и совместным звучанием гитары с роялем.

Все в молчании уселись за стол и призадумались в тёплом свете низко висящего абажура, позванивая чайными ложечками в стаканах с кипятком, – размешивали сахарин. Дядя Гриша в одиночестве допел песню, закрыл пухлой ладонью струны. Внезапно раздумчивое, доброе выражение его лица изменилось, и он зло, с затаённой болью, выдохнул в пространство:

– Забыли, сукины дети, со своей пропагандой родные песни!

В самом деле, только недавно, с осени, открылся нам с братом чудный мир русских народных песен: раньше их попросту не было слышно. Мы узнали имена таких певцов, как Лемешев и Михайлов. Видно, о патриотизме и славной старине власть вспомнила, лишь когда прижало. Толчком-разрешением, как я теперь думаю, послужило известное обращение Сталина к народу третьего июля сорок первого года: «... Пусть защищает вас в этой войне мужественный образ наших великих предков» – вождь перечислил полководцев, начиная с Александра Невского.

С осенью сорок первого неразрывно связались у меня в памяти и новые по тому времени песни, созвучные грозной поре. Особенно «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Её необыкновенная мелодия, мощное хоровое исполнение и мрачновато-торжественный ритм, тя-

жёлый и мерный, как неотвратимое возмездие, хватали за душу. <…> Почти такое же действие имела песня про оборону Москвы с мужественным и отрывистым, как марш, мотивом:

...Не смять богатырскую силу,
Могуч наш заслон огневой,
Мы выроем немцам могилу
В туманных полях под Москвой!

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!

Алику эти песни нравились. Я чувствовал, хотя он не признавался. Врождённая насмешливость не давала ему покоя: «Может ли ярость быть благородной? Можно ли обороной стальной разгромить врага?» – не раз спрашивал он меня.

Эвакуация из Москвы продолжалась, но Андрей у себя на работе в МОГЭСе отказался отправить нас в тыл. Нам он объяснил свой отказ тем, что уверен, что Москву немцам не взять. (А ведь фронт проходил в то время в 30–40 километрах от города. Откуда Андрей черпал уверенность?)

* * *

28 октября оказалось для нас днём второго рождения. Я помню его в мельчайших деталях. Переждав очередную тревогу, мы побывали в «Детском мире» на Арбате, и мама купила Мишке обещанное пружинное ружьецо со стрелкой. После обеда застелили вместе с Галкой и братом стол байковым одеялом и сыграли несколько партий в азартные «блошки» – разноцветные костяные пластинки, круглые и прямоугольные, пришедшие к нам из давнего маминого детства. Потом большой компанией собрались в кино на картину «Антон Иванович сердится». Фильм шёл в «Метрополе» на Театральной площади. Но посмотреть его нам было не суждено.

Из дому вышли втроём: мама, Мишка и я. Муха с Галкой задерживались и должны были догнать нас (Андрей, как всегда, дежурил на работе.) Было около четырёх часов пополудни, проглянуло солнце. Мы бодро шагали вниз по улице Горького, Мишук временами скакал вприпрыжку, как козлик. У коммерческого диетического магазина напротив Центрального телеграфа вытянулась огромная очередь, заполнившая весь широкий тротуар. Мы прошли до её хвоста, когда вдруг забухали зенитки, хотя объявления тревоги не было. Прохожие стали задирать головы и заволновались: «Вон он, вон он!» Я посмотрел в небо над высоким зданием телеграфа, но увидел только сплетение антенн и проводов, скреплённых крестовинами, похожими на маленькие самолётики. Это явно было не то. В толпе росло возбуждение, все показывали руками. Но я так и не успел рассмотреть: мама резко бросила нас с Мишкой на тротуар, пронзительно крикнув окружающим: «Ложись!» Однако никто не лёг. Наоборот, люди уставились с недоумением. Я стал подыматься...

И тут страшно грохнуло. Казалось, лопнуло небо. Землю под нами сильно тряхнуло. В вихре пыли ударил в нос знакомый уже острый запах взрывчатки. Мама потом говорила, что она за городским шумом услышала свист падающей бомбы, а грохот взрыва ей почему-то показался похожим на треск резко раздираемого брезента. В момент взрыва она и Мишук лежали плашмя слева от меня, я невольно загородил их, начав приподниматься над асфальтом. На нас надвигался встречный пешеход – высокий мужчина. На его лице застыло удивление при виде того, как мы распластались на тротуаре.

В следующий миг, когда всё потонуло в чудовищном грохоте, его швырнуло ударной волной назад, он упал навзничь и судорожно забил ногами. Мы лежали оглушённые. Солнце на какое-то время померкло. Сверху сыпались оконные стёкла, куски земли, камней и асфальта. Я почти ничего не слышал – в ушах стоял страшный звон.

Мы вскочили на ноги и вместе с немногими уцелевшими панически кинулись под арку рядом с магазином «Сыр», уводящую в Георгиевский переулок. Я бросил взгляд на того мужчину. Он, видимо, был убит наповал – первая смерть на моих глазах. Из-под неподвижного тела на серый асфальт быстро расползалась лужица крови. Кругом валялись тела.

С первых же шагов я почувствовал неладное: что-то постороннее тупо давило на левую лопатку, будто к ней через одежду прижимали нагретую сковороду. Я догадался, что ранен. Тут же промелькнула дурацкая мысль: «Лётчик не виноват. Он не специально. Идёт война!» – видимо, сказывалась агитация дяди Гриши и Мушки. Когда мы вбегали под арку, я спросил маму, нет ли дырки у меня на спине в зимнем пальтишке. Отрывисто дыша, она на ходу ответила, что не видит. В следующий миг страшно грохнуло второй раз где-то поблизости, и сверху снова хлынули стекла. Мне показалось, что началось светопреставление, сейчас начнут рушиться многоэтажные каменные громады.

Нас было человек десять. Пробежав арку, свернули налево к тыльной стороне магазина и увидели открытую служебную дверь. Тут грохнуло в третий раз. Все, как обезумевшее стадо, ворвались в неё и ринулись вниз, под каменные своды в спасительные глубину и сумрак. Однако нас остановил человек в рабочем халате и направил в подвал подсобки напротив. Я почувствовал, что лопатка мокнет, и снова попросил маму посмотреть дырку. На этот раз она увидела её.

Косясь на небо, броском пересекли узкий проезд и с облегчением спустились в подвал. Открылась невесёлая картина. Сюда уже успели притащить часть пострадавших, со всех сторон слышались крики и стоны. <…> Мне стало нехорошо, голова кружилась. Я снял кожаную шапку-ушанку, машинально ощупал затылок и вдруг обнаружил громадную кровоточащую шишку. Шапка на сгибе оказалась пробитой – зияло двойное отверстие с рваными краями. Мама в этот момент нагнулась к Мишухе: стёкла порезали ему ногу... Бедная наша мама!

Дальнейшее помнится смутно. К бомбоубежищу подали крытую полуторку и погрузили раненых. Нас с братцем посадили в кабину. Мамы не было видно, и я занервничал. Шофер успокоил:

«Там она, в кузове». Машина тронулась. С забинтованной головой я сначала чувствовал себя героем и бодро посматривал по сторонам. Когда выехали из арки на улицу Горького, шофёр неожиданно резко сказал мне, чтобы я не смотрел направо, а только в его сторону. Не понимая, в чём дело, я подчинился. Ведь там, куда хотелось посмотреть, недавно стояла огромная очередь и остался лежать убитый на моих глазах мужчина. Два года спустя я понял, почему так резко распорядился шофёр. В этих дворах жил мой одноклассник Колька Взнуздаев. Сразу после взрыва, пока не оцепили, он выбежал на улицу и увидел, что очередь в диетический была превращена в месиво, а вдоль тротуара стекал ручей крови. Напротив вышибленной центральной двери магазина посредине улицы чернела широкая воронка. <…>

Колька рассказал и о двух других бомбах, упавших сразу после нашей. Одна угодила в портал Большого театра, повредив Аполлона с его четвёркой бронзовых коней и вызвав жуткую панику в ЦУМе – Центральном универмаге, рядом. Другая упала на Неглинную улицу, тоже напротив скопления людей у входа в магазин.

Много позже я понял, что у «нашей» бомбы угол разлёта осколков практически равнялся 180 градусам – они во многих местах перебили тротуарный камень, поразили лежащих вроде меня, уничтожили стоящих в очереди и оставили внушительные выбоины на стенах от первого до последнего этажа окружающих высоких домов. Бомба, стало быть, разорвалась, едва коснувшись головным взрывателем асфальта. Такие взрыватели «без колпачка», как объяснил нам десять лет спустя преподаватель на занятиях по военному делу в университете, ставят не на фугасные, а только на осколочные бомбы и снаряды для поражения живой силы противника. Иными словами, «наша», а может быть, и две остальные бомбы вовсе не предназначались для разрушения крупных объектов. Немецкий лётчик не промазал по Телеграфу, как мы тогда думали, а прицельно положил бомбы по местам скопления людей, чтобы вызвать панику.

* * *

Машина свернула налево к Охотному Ряду. Я временами, видимо, терял сознание. Помню, пришёл в себя на Садовой у клиники Склифосовского: шофёр осторожно тряс меня. Но нас не приняли: клиника была переполнена. Сильно болели спина и затылок, но приходилось держаться и сидеть прямо: откинуться на спинку сиденья я не мог. Мы поехали куда-то в сторону Колхозной площади. Я смотрел на холодный закат и, отвернувшись от Мишухи, беззвучно плакал.

Принял нас областной клинический институт – МОКИ, на Второй Мещанской. Раненых, в том числе и меня, уложили на низенькие носилки на полу в приёмном покое (помню, как неприятно поразило впервые услышанное слово «покой»), и началось долгое тревожное ожидание. Наконец погрузили на каталку и привезли в операционную. Там я увидел хирурга Николая Ильича Соколова, имени которого никогда не забуду. Приступая к операции, он приободрил меня, назвал Александром Македонским и заговорщически подмигнул. Я стал меньше бояться, но настораживали рукава его белого халата, почти до локтей красные от крови. Видно, немало работы было у него в этот злополучный день.

Осколок, попавший мне в убойное место под левую лопатку, обнаружить не удалось – требовался рентген. А из затылка, покончив со спиной, Николай Ильич быстро извлёк и бросил на простыню перед моим носом небольшой кусочек металла, шутливо заметив: «Сохрани детям на память!»

Ночь после операции была тяжёлой. Всё болело, повязка стягивала грудь и не давала дышать, к тому же вскоре промокла. В палате потусторонним светом горела синяя лампочка, за плотно зашторенными окнами то и дело принимались выть сирены и ожесточённо лупили зенитки, отчего содрогались стёкла. Дежурившая возле моей кровати молоденькая медсестра с длинной косой дремала на стуле (как я потом узнал, её приставил ко мне на ночь Николай Ильич, так как опасался, что осколок проник в грудную клетку).

К утру рентгеновский аппарат наладили, и меня повезли на снимок. Я ничего не подозревал о возможных серьёзных последствиях и с обидой думал о сердитой женщине-рентгенологе, которая безжалостно и плотно прижала больное плечо к столу, когда включали аппарат. Получив мокрый ещё снимок, она быстро прошла с ним к окну и стала разглядывать на просвет. Я на всякий случай замер в ожидании. «Слава богу!» – воскликнула эта неласковая врачиха с явным облегчением. И показала: угловатый осколок оказался не в груди, а сидел в мякоти левого плеча. На дымчатом фоне

он выделялся прозрачным окошечком. Женщина неожиданно весело смотрела на меня: «Будешь жить. Ранение-то касательное! – Тут она заметила у меня на плече вздувшийся пузырь ожога и снова взглянула на снимок. – Так вот от чего ожог! А мы-то с Николаем Ильичом вчера гадали... Осколок изнутри прожёг! Ну, это пустяки. Он тебе его на перевязке вытащит».

Маму с Мишкой Николай Ильич в нарушение инструкций распорядился оставить на ночь в больнице: транспорт не ходил, налёт следовал за налётом. Позвонить домой не удалось, и бедный Андрей сходил с ума: Муха с Галкой не сомневались, что нас накрыла бомба. Они шли следом и видели взрыв: чёрный столб мгновенно заполнил широкую улицу и взметнулся много выше высокого здания Центрального телеграфа.

В МОКИ (он при мне превратился в военный госпиталь) я пробыл месяц. Суровая была пора: Москва висела на волоске, её беспрерывно бомбили. Транспорт не ходил, но мама почти каждый день приходила ко мне, добираясь пешком через безлюдный город и прячась по дороге от патрулей в подъезды или подворотни после сигналов воздушной тревоги.

Из страшных эпизодов вспоминается кончина пожилого человека с исхудавшим лицом, ввалившимися неподвижными глазами и крупными мозолистыми руками. Его привезли на каталке и положили на соседнюю с моей койку. Он попал кряду под две бомбы. При разрыве первой на заводском дворе его тяжело ранило в грудь и живот. Вторая бомба в ближайшую же ночь угодила в больницу. Изувеченного, его едва вытащили из-под завалов. Старый рабочий прожил после этого недолго. Хрипел и всё просил меня хоть слегка разрезать ему залубеневшие от засохшей крови бинты: трудно дышать. На вторую ночь меня разбудили его стоны. Я позвал дежурную сестру, но она только безнадёжно развела руками. Рано утром ему пытались сделать переливание крови, но дело не заладилось, где-то были закупорки, и поздно вечером Николай Иванович умер. При свете неизменной синей лампочки и пушечном громе его длинное тяжёлое тело переложили на каталку и увезли.

Запомнился еще политрук, про которого фронтовики, посмеиваясь, втихомолку говорили, что он слишком долго кричал «За Родину, за Сталина!», подняв над головой гранату. В результате она разорвалась в его руке. Несчастный был так изранен,

что его нельзя было бинтовать. Он лежал на простыне обнажённым, забинтована была лишь культя правой руки. От гибели его спасла каска. Над койкой был укреплён каркас, покрытый одеялами, а внутри, как в тесной палатке, горели лампочки для обогрева. Оттуда тянуло лекарствами и ещё чем-то, от чего становилось страшно.

Начав поправляться, я стал замечать красивых медсестёр (впрочем, они почти все казались мне тогда красивыми). Кроме девушек из постоянного персонала, к нам на этаж приходили стайками студентки-практикантки, очаровательные в своих белых халатах и шапочках. Они не раз принимались участливо расспрашивать меня об обстоятельствах ранения, и я страшно конфузился, отвечая, в то время как сердце радостно пело: меня заметили! Во время перевязок я млел от прикосновений их быстрых пальцев, не подавая виду, терпел боль и замирал, когда в заключение они иной раз гладили меня по голове. Я быстро привязывался, и потому бывало горько до слёз, когда они навсегда исчезали из виду. А происходило это часто: после практики их прямым ходом отправляли на фронт, грохотавший уже в дачной местности. Это окружало моих избранниц героическим ореолом и усиливало неизъяснимое томление: я страдал от очередного расставания и невозможности идти вместе с ними на подвиг, туда, где совершалось самое главное.

С передовой поступало много раненых, и на нашем этаже почти не осталось гражданских. Прибывающие вносили оживление – держались в основном молодецки, с фронтовым шиком. Мы с радостью узнавали, что немцев можно с успехом побеждать, что страх первых месяцев войны прошёл. Крутясь среди них, я наслушался, как «давали прикурить» фрицам возле Истры и Крюкова (фронт в конце ноября проходил между станциями Фирсановка и Сходня Октябрьской железной дороги), как приходилось самим драпать, о горе-танках Т-26, насмешливо прозванных «Прощай, Родина!» за слабую броню, о девушках-связистках, медсёстрах. <…> Помню, рассказывал кто-то о друге, умиравшем на его глазах в медсанбате. Того окружили медсёстры: «Плохо тебе, миленький?» – и раненый прохрипел, стараясь напоследок улыбнуться: «Да я среди вас как в раю!»

Мне нравился весёлый молодой боец. Оставшись без руки, он не унывал, вовсю ухаживал за медсёстрами и вообще за женским персоналом, балагурил, научился ловко скручивать «козью ножку», зажигать спичку и прикуривать без посторонней помощи. Расспросив меня о бомбе у Центрального телеграфа, погубившей особенно много людей, он бодро заключил: «Значит, Сашок, тебе с братом на роду смерть от огня не написана. Долго жить будете!» Он всегда что-нибудь тихо мурлыкал. <…> Но иногда становился задумчив и тогда запевал новые песни, которые мы недавно услышали по радио: про золотой огонёк или про оставленную в тылу девушку. До сих пор звучит в памяти его совсем юношеский голос: «Второй стрелковый храбрый взвод теперь моя семья, привет-поклон тебе он шлёт, моя любимая!»

Обе песни навек связались с тревожными ночами, тусклой синей лампочкой палаты, грохотом зениток, перевязками, улыбками медсестёр – госпиталем МОКИ незабываемого сорок первого.

***

Впереди была ещё долгая война: разгром немцев и наше долгожданное наступление под Москвой, беспросветный, мертвящий мрак и холод первой военной зимы с её коптилками, жалкими дровами, дымными печками-буржуйками прямо на изрубленном паркете и – настоящий голод. Он пришёл на смену хоть и страшной, но всё же чем-то живой, насыщенной событиями поре бомбёжек, когда ещё оставались рядом мужчины и когда можно было раздобыть хоть какую-то еду. Умерла от дистрофии пожилая дальняя родственница – тётя Аида Благова, пришла весть о геройской гибели Миши Ястребова под Сухиничами 23 января сорок второго года и его посмертном награждении орденом Ленина. Мы попрощались с ним тогда, в конце октября, выходит, навсегда. Никогда не забуду его незащищённый, по-детски открытый взгляд... Машура, Мишина старшая сестра, недавно вспомнила поразившие её слова, невзначай сказанные братом, когда он прощался на пороге дома перед отправкой на фронт: «Я знаю, что меня убьют, а вы будете жить...».

В марте призвали Алика. Он прошёл ускоренное обучение в Горьком, храбро сражался в составе 3-й танковой армии генерала Рыбалко, дважды форсировал Днепр, после освобождения Киева и Фастова был тяжело ранен – война для него окончилась. Два ордена получил уже в госпитале.

Той же весной вскоре после призыва Алика угодил в больницу с крайним истощением Андрей: у него опухли, как колоды, обе ноги. Но и находясь там, пошучивал: «Бороду не сбрею, пока союзники не откроют второй фронт!» После выписки, не вынеся мук голода, он добровольно ушёл воевать и попал в армию того же славного Рыбалко. Войну закончил среди цветущих майских садов Праги после лихого марш-броска на танковой броне.

Бились как рыба об лёд мама с Мушкой. Спасая нас от голода, они, кроме основной службы, подрабатывали чем придётся, были даже пожарниками. Всю войну ради донорских карточек сдавали кровь, а однажды нужда заставила обеих согласиться на роль подопытных кроликов. В особой лаборатории проверяли действие новых боевых отравляющих веществ, отчего у обеих на теле остались страшные рубцы. В летнюю пору ещё совсем не старые сёстры громко стучали по тротуарам тяжёлыми деревянными подмётками босоножек с грубым брезентовым верхом – копиями средневековых французских сабо и прообразами современных «платформ», а за городом щеголяли в галошах на босу ногу или просто босиком. Летом с мешком на перевязи, зимой с самодельными салазками мама в одиночку, иногда со мной отправлялась в небезопасные странствия по дальним деревням – менять остатки одежды на продукты. По весне сажали картошку (точнее, обрезки с «глазками») – то в пар-

ке на территории клиники на Девичьем поле, где много лет работала Мушка, то на глинистых косогорах среди безжизненных пустырей и свалок железного лома за Калужской заставой. С появлением первой зелени пробуждались новые надежды. До сих пор помню отвратительный вкус супа из лебеды, который заедали крошащимися лепёшками из кофейной гущи и перетёртых в муку высушенных картофельных очисток...

Незадолго до конца войны открылась ужасающая правда о немецких лагерях смерти. Дядя Гриша поначалу отказывался верить: сталинская агитка. Потом под давлением фактов поник своей большой и умной головой.

Но пришёл наконец замечательный день 9 мая 1945 года, когда по радио загремел торжествующий бас Левитана – войне конец, мир!

Поздним вечером вчетвером с мамой, подросшим за годы войны Мишуткой и моим одноклассником Колей Рожновым, прошедшим горнило работы подростком на военном заводе, мы впервые вольно шли вместе с толпами ошалевшего от небывалой радости народа прямо посредине улицы Горького вниз к Охотному Ряду, через место падения «нашей» бомбы и беспрестанно, до хрипоты, кричали «ура!»... Мы выжили, мы дожили до казавшейся несбыточной, недосягаемо далёкой Победы!

Страшная битва между Сциллой и Харибдой закончилась. Но смягчения жестокого режима многострадальный народ не дождался. Всё осталось попрежнему. И всё-таки: какая была грозная и...

прекрасная пора! Она отступает, уходит всё дальше. Новые события постепенно заслоняют свершившееся под Москвой осенью сорок первого. Остаются только песни того времени да глубокие выбоины от осколков на каменных стенах старых домов.

Об авторе

Александр Александрович Константиновский родился 30 ноября 1930 г. в Воронеже. После окончания географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова работал в Таджикистане, Приамурье, в Алданской и Колымской экспедициях Всероссийского аэрогеологического треста, участвовал в среднемасштабной геологической съёмке (Южное Верхоянье, хребет Джугджур, Приколымье, хребты Момский и Черского). Внёс существенный вклад в изучение стратиграфии и тектоники названных районов. С 1972 г. работает в ЦНИГРИ.

В 1991 г. А. А. Константиновский защитил докторскую диссертацию, посвящённую геолого-генетическим основам поисков месторождений алмазов и золота на территории бывшего СССР. Опубликовал более 70 научных работ. Его имя хорошо известно специалистам в нашей стране и за рубежом.

Иллюстрации В. Ю. Козловой